



БОЛЬШАЯ ПРОЗА
ДИНЫ РУБИНОЙ

Дина
Рубина

НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ



МОСКВА
2022

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Р82

Оформление серии *А. Дурасова*

В оформлении суперобложки использована
репродукция картины «Жаркий день» (1942 г.)
художника *А.А. Лабаса*

Рубина, Дина.

Р82 На солнечной стороне улицы : роман / Дина Рубина. — Москва : Эксмо, 2022. — 432 с.

ISBN 978-5-04-090264-4

Роман Дины Рубиной — неожиданный виртуозный кульбит «под куполом литературы», абсолютное преображение стиля писателя, его привычной интонации и круга тем.

Причудливы судьбы героев романа, в «высоковольтном» сюжете переплелись любовь и преступления, талант и страсть, способная уничтожить личность или вознести к вершинам творчества.

Откройте этот роман — и вас не отпустит поистине вавилонское столпотворение типов: городские безумцы и алкаши, русские дворяне, ссыльные и отбывшие срок ээки, «белые колонизаторы» и «охотники за гашишем»...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Д. Рубина, 2018
© Оформление.

ISBN 978-5-04-090264-4

ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Часть первая

...для любого сколько-нибудь тревожного человека родной город... — нечто очень неродное, место воспоминаний, печали, мелочности, стыда, соблазна, напрасной растраты сил.

Франц Кафка.

Письма к фройляйн Минце Э.

Я позабыла тот город, он заштрихован моей угрюмой памятью, как пейзаж — дождевыми каплями на стекле.

Не помню названия улиц. Впрочем, их все равно переименовали. И не люблю, никогда не любила глинобитных этих заборов, саманных переулков Старого города, ханского великолепия новых мраморных дворцов, имперского размаха проспектов. Моя юность проплутала этими переулками, просвистела этими проспектами и — сгинула.

Иногда во сне, оказавшись на смутно знакомом перекрестке и тоскливо догадываясь о местонахождении, я тщетно пытаюсь припомнить дорогу к рынку, где ждет меня спасение от позора.

Я не помню лиц соучеников, и когда на моем выступлении в Сан-Франциско или Ганновере ко мне подходит некто незнакомый и, улыбаясь слишком ровной, слишком белозубой улыбкой, говорит: «Вспомни-ка школу Успенского», — я не помню, не помню, не помню!

6 ...Тогда почему все чаще, возвращаясь из Хайфы или Ашкелона домой, поднимаясь в свой иерусалимский автобус и рассеянно вручая водителю мятую двадцатку, я глухо говорю:

— ...В Ташкент?..

1

Из долгой, с ветерком, гастрели мать нагрязнула неожиданно и, вызвав у соседней про измену отчима, пошла резать его кухонным ножом. Нанесла три глубокие раны — убивать так убивать! — и села в тюрьму на пять лет...

Вера в тот день как раз читала «Царя Эдипа». Распластанная книжка так и осталась валяться на кухонном столе дерматиновым хребтом вверх, словно силась подняться с карачек... Так что все оказалось по теме. Хотя убийства настоящего и не вышло. Дядя Миша, отчим, долго валялся по больницам, но окончательно не выправился,— подволакивал ногу, клонился влево, подпирая себя палкой. Кашлял в кулак...

«Догнива-а-ает», — говорила мать, убийца ока-
янная.

Сама же отсчитала весь срок до копейки, и, когда вернулась, Вере уже исполнилось двадцать.

Вот вам конспект событий...

Если же рассказывать толково и подробно... то эту жизнь надо со всех сторон копать: и с начала, и с конца, и посередине. А если копать с усердием, такое выкопаете, что не обрадуетесь. Ведь любая судьба к посторонним людям — чем повернута? Конспектом. Оглавлением... В иную заглянешь и отшатнешь испуганно: кому охота лезть голыми руками в электрическую проводку этой высоковольтной жизни?

Вернулась она тихо: позвонила в дверь двумя неуверенными звонками и, когда Вера открыла, прослезилась и обмахнула щеки дочери такими же неуверенными поцелуями. И то и другое было ей несвойственно.

«Присмирела, что ли, на казенной баланде?» – подумала Вера.

Мать прошла отчего-то не в комнату, а в кухню; Сократус – холеный барин, эстет, платиновые бакенбарды – следовал за ней тревожной трусцой, морщась от ужасного запаха тюремной юдоли.

Мать опустила на табурет, медленно стянула с головы косынку (поседела, фурия, – отметила Вера) и мягко, со слезою в голосе, вздохнула:

– Ну вот, вернулась к тебе твоя мамочка...

Привалившись острым плечом к дверному косяку, Вера молча наблюдала за нею. Только после ее слов, вернее после этого красивого обнажения поседевшей головы, она поняла, что играется сцена «Возвращение мамочки», и мысленно усмехнулась. Мать между тем оглядела кухню уже другим, своим прихватывающим взглядом, поддала носком стоптанной босоножки обломок угольного карандаша на полу:

– Все малюешь... Я в твои годы горбила вовсю.

– А, здравствуй, мама! – словно узнав ее наконец, воскликнула дочь. И согнала с губ улыбку. – В мои годы ты вовсю спекулировала.

Та подняла на нее светлые рысьи глаза: видели верзилу? – стоит, жердь тощая, старая майка краской заляпана, взгляд угрюмый, насмешливый... Выросла. Самостоятельная!

Они глядели друг на друга и понимали, что жить им теперь, обеим, бешеным, в этой вот квартире. Нос к носу...

Я, пожалуй, встряну здесь ненадолго. Собою их не заслону, хотя я и автор, вернее — одно из второстепенных лиц на задах массовки. Я и в хоре пела всегда в альтях, во втором ряду. Вы помните, конечно, эти немолчные хоры на районных конкурсах школьных коллективов? Если нет, я напомню.

Выстроились на сцене двумя длинными рядами. Одежда парадная: белый верх — черный низ, зажеванные уголки красных галстуков с утра тщательно отпарены плюющим утюгом...

Второй ряд стоит на длинных скамьях из спортзала, не шевелясь и не дыша, потому что однажды, из-за подломившейся ножки скамьи, все дружно и косо, как домино из коробки, повалились на деревянный пол сцены.

Подравняться!!! Носки туфель чуть расставлены... Смотреть на палочку!!! Набрали в грудь побольше потной духоты зала, и!..

Вот хоровичка поднимает руки, словно готовясь долбануть локтями кого-то невидимого по обеим сторонам. Дирижерская палочка подрагивает и ждет. За роялем Клара Нухимовна: белое жабо крахмальной блузки, слезящийся нос, жировой горбик на шее... В черном зеркале поднятой крышки рояля подбитой голубкой трепещет отражение ее комканого кружевного платка.

И вот — бурный апрельский разлив вступления!

Взмах из затакта: повели медленно и раздумчиво...

Ветви оделись листвою весенней...
И птицы запели, и травы взошли,
Весною весь мир отмечает рождение...

звук нарастает, жилы на шее хоровички натягиваются...

И поехали с орехами:

Лееееееенин...

Это мы, альты и вторые сопрано, еще затаенно;
и вдруг – восторженный вскрик первых сопрано:

– Ленин!!!
Это весны...

Первые сопрано, заполошно перебивая:

– Это весны цветенье!!!
Ле-ееееенин...
Ленин!!!

Дружное ликование в терцию:

– Это побеееды клиииич!
– Славь-ся в века-а-ах...

Совместное бурлацкое вытягивание баржи:

– Лееееееенин!
Наш...

Вторые сопрано и альты, борясь за подлинную
истовость:

– Наш дорогой Ильич!!!

И пошел, пошел, ребятки, финал – наш вели-
кий исход, иступление, искупление, камлание,
сладострастие тотального мажора безумных ве-
сталок:

– Ле-ни-ну – слаааааааааааа-ва!!!
Пар-ти-и слаааааааааааа-ва!!!
Сла-ва в векааааааааааааааа-ах!!!

10 ...и вот теперь... подкрадываясь с пианиссимо, раскручивая птицу-тройку до самозабвенного восторга, по пути прихватив мощное сопрано нашей хоровички, налившейся свекольным соком, стремительно хлынувшим на лоб ее, щеки и монументальную грудь!!!

Слааааааааааааааааа-а-ва!!!

Обвал дыхания в беспамятство тишины.

Яростный гром аплодисментов под управлением жюри.

* * *

С неделю было тихо. Мать не трогала Веру, присматривалась. Правда, в первый же вечер в отсутствие дочери сгребла все холсты, подрамники, кисти и коробки с сангиной и мелом и свалила на пол в маленькой восьмиметровой комнате, где Вера обычно спала.

Большую же, пропахшую скипидаром, лаком и краской, — дочь считала ее мастерской и на этом основании превратила в свинарник, даже доски для подрамников в ней строгала, — мать отмыла, провертила, постирала и повесила на окна старые занавески, пять лет валявшиеся в углу на стуле (света ей, дылде, видите ли, не хватало!), и для порядку прибила на дверь небольшую такую задвижечку, не засов какой-нибудь амбарный, — все-таки с дочерью жить, не с чужим человеком.

Вера, увидев это, ничего не сказала: в самом деле, нужно же и матери где-то жить. Жаль было только постановку для натюрморта, мать разобрала ее. Окаменелые от давности гранаты выбросила, а медный, благородно темный кумган обтерла от пыли тряпкой, служившей в постановке вишневым фоном, и переставила на подоконник.

«Ах ты, корова старая, — подумала дочь беззлбно, — я неделю ждала, пока он пылью покроется, чтоб не слишком блестел...»

Вообще Вера была настроена миролюбиво, мрачно-миролюбиво. Вечерами сидела в своей комнате и часами рисовала автопортреты, поминутно вскидывая глаза на свое отражение в остром осколке когда-то большого и прекрасного зеркала. Иногда раздевалась до пояса (натурщицы были не по ее студенческому карману) и таким же сосредоточенно-цепким взглядом, словно чужую, вымеряла себя в зеркале: прямые плечи, робкую, как у подростка, грудь, втянутый живот...

В первые дни мать, все еще играя роль «вернувшейся мамочки», пробовала беседовать по душам, то есть совала нос не в свои дела, давала идиотские советы или принималась вдруг рассказывать душещипательные тюремные истории. Но нарвалась несколько раз на едкие замечания дочери и отступилась.

Дочь не пускала в свою странную, но, видимо, устоявшуюся жизнь. Ну и маячил между ними еще живым укором этот недобиток, который и получил свое, на что напрашивался...

У Веры как раз тогда заканчивался период длительного увлечения хатха-йогой; по утрам она уже не стояла на голове и не тратила полтора часа на позы с тех пор, как умножила эти полтора часа на семь (неделя), а потом на тридцать (месяц), и прикинула — сколько времени поглотило у нее бессмертное учение. Рассудив, что полтора месяца — довольно жирный кусок от ее, безусловно, смертной жизни, утренние занятия самосовершенствованием она прекратила, но все еще была убеждена, что, закрыв глаза и вызвав в воображении круг зеленого цвета, можно сосредоточиться и усилием воли погасить любые нежелательные эмоции — например, ярость при виде задвижки на двери, которую приколотила эта старая тюремная комедиантка.

С тех пор как мать вернулась, зеленый круг приходилось вызывать в воображении довольно часто, и у Веры появилось опасение, что вся ее жизнь теперь может пойти сплошными зелеными кругами: мать устроилась уборщицей в очередной стройтрест и понемногу набирала обороты: купила себе венгерские кроссовки, завилась и стала красить губы.

Вера насторожилась, как насторожился бы житель горной деревушки, заметив, что над давно погасшим вулканом вновь курится дымок.

И вправду, дней через пять, вечером мать ввалилась разгоряченная, деятельная. Распахнула пошире входную дверь: за нею, тяжело топая, поднимались по лестнице двое мужчин с ящиками на плечах.

— Рахимчик, сюда... Рахимчик, легче давай... — командовала мать. — Колюнь, ложь эту хреновину вот здесь... Осторожней, не побей!.. Та-а-ак...

Вера вышла из своей комнаты и молча смотрела на озабоченную беготню. Колюня и Рахимчик сбегали еще по два раза вниз, внесли шесть банок импортной краски...

— Рахимчик, ну что, — все там? Дай вам бог здоровья, ребятки, подмогли. Получайте! — Мать, как разгулявшийся купец в кабаке, с размаху вмяла в Колину ладонь трешку.

— Ка-ать... — с жалостливым укором протянул Коля, — натаскались же...

— Ка-а-люня! — Мать изумленно-ласково подняла брови. — А бог где? — и похлопала ладонью по молодой его, напористой груди. — Вот где бог-то! В нас-то он и есть...

Вера хмыкнула и даже вперед подалась, чтобы не прозевать Колюнину реакцию на божественный довод. С богом — это новенькая была хохма, может, в тюрьге у кого переняла. Но Коля, несмотря на молодой возраст и, вероятно, вполне атеистический взгляд на мир, смутился и как-то потускнел. Бедняга

просто не знал, что из матери невозможно вышибить лишней копейки, а то бы и вопроса такого нелепого не стал поднимать.

Когда парни ушли, Вера осмотрела ящики. В них была чешская кафельная плитка. Предположить, что мать решила отремонтировать квартиру, Вера никак не могла. Выходит, взялась за старое, коммерсантка чертова.

– По нарам соскучилась? – спросила ее Вера.

Мать оскорбилась не на слова дочери, а на тон – спокойный. Бесило ее это спокойствие.

– Заткнись, акварель чокнутая!

– Ну, сядешь...

Мать прищурилась азартно:

– Эт кто меня посадит, ты, что ль?

– Я!

Вера ответила так неожиданно для себя и вдруг поняла, что может посадить. Стоило бы, во всяком случае. Чтобы не одуреть от зеленых кругов перед мысленным взором.

Мать задохнулась от ярости:

– Ты?! Ты?! Ты меня посадишь, помазилка дра-ная?! – И присовокупила длинно. И еще присовокупила.

– Ну, эту поэзию мы слышали, – невозмутимо ответила Вера, повернулась и пошла к себе в комнату. Но не успела закрыть за собою дверь – мать подскочила и кулаком сильно ударила дочь по спине, между лопаток.

Вера в драку не кинулась, сдержала себя, хотя волна горячей крови долго еще гулким прибоем омывала сердце. И никаких кругов в воображении она вызывать не стала.

Отчеканила только с тихим, леденящим душу бешенством:

– Еще разок лапу на меня поднимешь – горько раскаешься...

И началось... Не жизнь, а война двух миров.

Сначала явился участковый — строгий белобрысый молодой человек немногим старше Веры. Проверил документы и предложил ознакомиться с заявлением. Вера без особого интереса пробежала глазами безграмотные строчки, написанные знакомой деятельной рукой, и расстроилась: мать вышла на военную тропу. В заявлении сообщалось, что гражданка Щеглова В. из 15-й квартиры, особа без определенных занятий, тунеядка склочного характера и аморального поведения, третирует весь дом постоянными дебошами, пьянством и сквернословием. Поэтому от всех жильцов большая просьба до работников милиции: будьте добреньки выселить гражданку Щеглову В. из квартиры, где она регулярно измывается над матерью с подорванным здоровьем. Подписана бумажка была: «группа соседей не откажуща подтвердить». Далее стоял энергичный и невнятный росчерк материнной подписи и приписка: «и зогатила всю квартиру».

Вера аккуратно сложила листок вдвое, вернула его белобрысому участковому и сказала:

— Заходи, компотом угощу, абрикосовым.

Участковый нахмурился и вошел. Вера налила ему в большую кружку компоту и отрезала кусок пирога с яйцом и луком. Ей слишком часто приходилось сидеть на диете, особенно в те месяцы, когда почти на всю зарплату закупала в художественном салоне материал — холст, бумагу, подрамники, лак... Так что, если вдруг заводилась свободная десятка и накатывало столь редкое у нее кулинарное вдохновение, Вера уж не жалела часа полтора потоптаться у плиты, чтобы затем в дивном одиночестве провести вечер наслаждений — за книгой, смакуя по кусочкам отбивную, зажаренную с луком и картофелем, отпивая медленными глотками кофе, сваренный ею по-

настоящему, как Стасик научил, — с пенкой, подошедшей дважды... 15

— Что ж вы с соседями не ладите? — строго спросил участковый.

Вероятно, строгостью хотел уравновесить либерально-попустительское питье компота у проверяемой гражданки.

— Соседи у меня хорошие, — ответила Вера. — А бумажку моя мать писала.

Парень сильно удивился — видать, недавно приступил к обязанностям участкового, а может, просто рос в приличной семье. Даже перестал жевать. Снял фуражку, вытер платком потную красную полосу на лбу:

— Ну, дела-а-а... Чего это она?

— Такой характер лютый, — объяснила Вера... — Да ты не расстраивайся! Давай я твой портрет нарисую? Вон у тебя какое лицо... надбровные дуги какие, мощно вылепленные...

Участковый смущенно потрогал свои надбровные дуги, которые расхвалила гражданка Щеглова В., отодвинул пустую кружку и сказал:

— Да нет, в другой раз. Спасибо.

Он осмотрел квартиру, зашел в Верину комнату, внимательно оглядел расставленные вдоль стен холсты на подрамниках, большие картонные папки, коробки с пастелью и сангиной... пяточок свободного места с мольбертом у окна и топчан, занимающий чуть не треть комнаты...

— Да-а-а... Тесно тебе здесь...

Помолчал и добавил:

— Говорят — искусство, искусство! Работники искусства... А я гляжу — не очень-то у тебя чистая работа...

— Ну, у тебя — тоже... — усмехнулась Вера.

Уже на пороге он сказал озабоченно:

— Хорошо, что я по соседям сперва не двинулся. Может, вызвать ее в оперпункт, прижучить маленько?

— Не надо, сама справлюсь.

И объяснила насмешливо:

— Это из нее талант прет, понимаешь? Она талантливая, только образования нет, и жизнь была тяжелая — война, блокада... родные поумирали все... Если б ее вовремя образовать, вышла бы птица большого полета. Может, министр финансов, может, гениальная актриса...

Вечером она сказала матери:

— Значит, вот так: судиться и сволочиться с тобой я не буду. На это нужны время и вдохновение, а мне все это пригодится для другого дела... Не хочешь жить нормально — давай размениваться.

— Еще чего! — мать возбужденно улыбалась. — Я не для того квартиру зарабатывала, чтоб по ветру ее размотать!

О том, как она зарабатывала эту квартиру, до сих пор ходили легенды в жилищном отделе горсовета. И долго еще после происшествия кто-нибудь из чиновников посреди совещания оборачивался к другому, прищипывал языком, подмигивал, говорил шепотом:

— Адыл Нигматович, я как вспомню: ка-акая же-енщина, а? Грудь-то видали, прям антоновка, золотой налив!.. Как думаете, она вправду с четвертого этажа сиганула бы?

— Э-э-э! — морщился Адыл Нигматович. — Глупости! Тот дженчина просто бандитка некультурный, больше ничего. Какой воспитаний у него, а? Вишел голый на балкон, дочка на перил садил... Кричал — сам прыгну, дочка ронять буду!.. Гришя, подумай сам — зачем горсовет такой скандал! Пусть уже сидит в тот квартир, самашедчий дженчина!

— Ты у меня отсюда бесплатно вылетишь, вместе с картинками, ветер в ушах запоет!

«Портрет бы с тебя, стервы, писать, — подумала Вера. — Уж больно живописна в яркой косыночке на

рыжей завивке, в оранжевой этой кофте... Посадить у окна, чтобы свет – слева, а фон приглушенный, пожалуй, серовато-синий... Тогда лицо приобретет сияющий зеленоватый оттенок, дополнительный к красному, яркому... Та-ак... Свет от окна освещенную часть лица сделает холоднее, чем затемненную... а на той будет рефлекс от теплых оттенков обоев... Хм... так-так... аккорды зеленого и красного повторить в одежде... да... и более глухими отголосками на спинке стула... и тогда среда наполнится энергией двух этих цветов, из которых возникнет живописная ткань портрета...»

Ну чего не жить как люди?

Вслух она сказала:

– Ну смотри, не обижайся...

Мать театрально захохотала.

2

Из большой и горластой семьи Щегловых – одних детей было трое, да мать с отцом, да тетя Наташа с сыном Володей, и все жили дружно и суматошно в двух комнатах в коммуналке на Васильевском острове, Четвертая линия, – так вот, из всех Щегловых в живых после блокады остались восьмилетняя Катя и брат Саша.

В армию Сашу не взяли из-за эпилепсии.

Их эвакуировали в Ташкент... И здесь Сашу и умирающую Катю взяла к себе на балхану узбечка Хадича.

* * *

«– Да нет, милая вы моя, все не так скоро делалось! И вообще, делалось-то как бы и не людьми, а безумной воронкой эпохи, которая всасывала всех нас в какую-то гигантскую утробу оцепенелого ужа-са, голода и хаоса войны...

18 Вы извините, что я так сразу, и сразу — с критикой. Вы сказали, что собираете воспоминания бывших ташкентцев, как вы выразились — голоса унесенных ветром», — ну, и я обрадовался. И хотя в Ташкенте я был только в детстве, в эвакуации, а потом вернулся в Саратов, я все же считаю себя вправе тоже “подать голос”. Так что вот, посылаю запись...

...Я-то помню кое-что из того времени, хотя был совсем пацаном... — так, картинки отдельные. Представьте, что на некий азиатский город сваливается миллион вшивого, беглого оборванного люда... На вокзал прибывают эшелоны за эшелонами, город уже не принимает. И это разносится по вагонам, люди передают друг другу: “Город не принимает... не принимает... не дают прописку”.

И все-таки горемычные толпы вываливались из поездов и оставались на привокзальной площади, расстилали одеяла на земле и садились, рассаживались целыми семьями в пыли под солнцем. Ступить уже было негде, приходилось высматривать — куда ногу поставить... А прибывали все новые, новые оборванцы... бродили по площади, встречали знакомых, спрашивали друг друга: “Вы сколько сидите?” Узнавали новости о близких, приходили в отчаяние... И все-таки сидели...

И мы с мамой сидели, изо дня в день... потому что ехать дальше означало гибель, а в Ташкенте выживали, цеплялись за какую-то работу, жизнь вытягивала соломинкой надежды.

Помню, на этой, залитой солнцем и застланной одеялами, площади лежала женщина в беспамятстве. У нее было сухое, обтянутое кожей лицо и губы, иссеченные глубокими кровавыми трещинами. Кто-то сжалился и смазал эти кровоточащие трещины постным маслом, и вдруг она, не открывая глаз, судорожно принялась слизывать масло с губ...

...А вот еще картинка: мы с мамой идем по улице, над головой – сплошная зеленая крона с узорными прорехами ослепительного солнца, у мамы в руке наш единственный фанерный чемодан... а вокруг на гремящих самокатах разъезжают мальчишки и кричат: “Жидовка, скажи «кукуруза!»”... Я держу маму крепко за руку и, конечно, верю в ее силу... но все-таки немного страшно... На вокзале можно было взять носильщика – дюжего мужика, – он обвязывался ремнями-веревками и пешком тащил чемоданы по адресу, какой скажут... просто шел впереди тебя, сгибаясь под тяжестью баулов и тюков... С носильщиком было бы не так страшно идти по чужому городу... Но у нас ни тюков, ни денег не было, поэтому мама несла чемодан сама, только руки меняла. Остановливалась, говорила мне, тяжело дыша: “Подожди... зайди с другой руки”... и мы шли дальше... А самокаты сужают круги, все теснее кружат на своих гремящих, подвизгивающих подшипниках: “Жидовка, скажи «кукуруза!»”.

Мама вдруг остановилась и в сердцах крикнула: “Холера тебе в пузо!!!”... И это так понравилось учителям, что они отстали...

...Рынки, конечно, помню... Алайский рынок, знаменитый... это был какой-то... Вавилон! Вот уж действительно где смешались языки-наречья, пот, слезы, тряпье, тазы, ослы, арбы, люди... А воря сколько! Вся страна беспризорная, голытьба окаянная сползалась в город хлебный, теплый... Люди говорили: “Самара понаехала!”, почему-то считалось, что самарцы – сплошь ворюги... Когда в кинотеатрах стали крутить кино “Багдадский вор”, появилась присказка: “Пока смотрел «Багдадский вор», ташкентский вор бумажник спер”...

Помню, на рынке однажды поймали вора. И кто-то уже стал звать милицию, а один дядька – красноречивый, однорукый, сказал: “Не надо, сами справимся!”

20 Несколько мужиков сгрудились над пойманным, и только слышно: уханье — и хрясть, хрясть! Так дружно, так остервенело били!.. И только потом я догадался, что били-то его свои и что однорукий краснорожий был, наверное, главарем шайки, а того, пойманного, била вся его шобла, била до полусмерти — таким образом спасая...

Шестьдесят пять лет прошло, а эти картины у меня перед глазами как вчерашний день... И вообще, сколько за плечами осталось — Саратов, Москва, десятки городов... Вот сейчас и до конца уже — Марбург, а я до сих пор, стоит только закрыть глаза, так ясно представляю себе эту улочку, по которой мы с мамой идем, — высоченные кроны чинар сплетаются над головою в зеленый солнечный тоннель...»

* * *

...Хадича, маленькая проворная женщина, подвязав с утра косынкой седые жидкие косицы, целый день бесшумной юлой крутилась по утопанному, чисто выметенному дворику.

А Катя умирала...

Истонченный блокадным голодом желудок отторгал пищу. Девочка лежала на цветастых курпачах, расстеленных на балхане, и молча глядела в теплое узорное небо, сквозившее радужными снопиками сквозь листья чинар. Виноградные лозы оплетали деревянные столбы балханы. Настырный ветерок трепал на плоских крышах алые лепестки маков... Где-то во дворе с курлыкающим ровным звуком день и ночь вдоль дувала катился арык...

Саша сидел рядом, обхватив колени, — сутулый, мосластый, сам донельзя худой, — и тихо плакал: он понимал, что Катя умирает и он остается один из Щегловых, совсем один, в этом бойком южном горо-